



Лауреат
Нобелевской премии
по литературе

Белая крепость

Орхан Памук

PREMIUM

Азбука Premium

Орхан Памук
Белая крепость

«Азбука-Аттикус»

1985

УДК 821.512.161
ББК 84(5Тур)-44

Памук О.

Белая крепость / О. Памук — «Азбука-Аттикус»,
1985 — (Азбука Premium)

ISBN 978-5-389-11609-2

Орхан Памук – известный турецкий писатель, обладатель многочисленных национальных и международных премий, в числе которых Нобелевская премия по литературе за «поиск души своего меланхолического города». Душа города всегда обретается в его прошлом, возможно, поэтому талант Памука так блестяще проявляется в исторических романах, таких как «Имя мне – Красный» и «Белая крепость». Сюжет романа «Белая крепость», действие которого происходит в XVII веке, одновременно прост и загадочен, подобно древней арабской миниатюре: главный герой, молодой итальянец, попадает в плен к туркам, где становится рабом странного человека, одержимого познанием Вселенной. Однако наиболее волнующая тайна заключена в лице турецкого ученого, как две капли воды похожем на лицо итальянского пленника. Предлагаем читателям новый перевод романа «Белая крепость».

УДК 821.512.161
ББК 84(5Тур)-44

ISBN 978-5-389-11609-2

© Памук О., 1985
© Азбука-Аттикус, 1985

Содержание

Введение	6
1	8
2	13
3	21
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Орхан Памук

Белая крепость

Хорошему человеку, хорошей сестре Нильгюн Дарвыноглу (1961–1980) посвящается

Когда нам кажется, что человек, пробуждающий в нас интерес, живет какой-то неведомой нам, загадочной, но оттого исполненной очарования жизнью, когда мы думаем, что сможем по-настоящему начать жить лишь благодаря этому человеку, – что это, если не начало любви?

Марсель Пруст в переводе Я. К. Караосманоглу

Orhan Pamuk

BEYAZ KALE

Copyright © 1979, Can Yayin Lari Ltd.

All rights reserved

© М. Шаров, перевод, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016 Издательство АЗБУКА®

Введение

Эту рукописную книгу я нашел в 1982 году, когда летом, как это было у меня заведено, неделю рылся в запущенном «архиве» городских властей Гебзе¹. Она лежала на дне пыльного сундука, до отказа набитого султанскими указами, купчими на земельные участки, судебными актами и прочими документами. Я сразу обратил на нее внимание: она была в аккуратном переплете из синей мраморной бумаги, напоминающей о сонных грезах, написана четким, разборчивым почерком – среди блеклых официальных документов она прямо-таки сияла. Чьей-то рукой – не той, что написала саму книгу, – на первой странице, словно бы для того, чтобы еще больше заинтриговать меня, было выведено единственное заглавие: «Пасынок одеяльщика». Поля и пустые места заполнялись детскими рисунками – человечками с маленькими головами, одетыми в испещренные пуговицами кафтаны. Не отрываясь, с большим удовольствием прочитал я книгу до самого конца, а затем, поскольку переписывать ее мне было лень, воспользовался доверием служителя, который из большого почтения не следил за мной, и быстро засунул ее в портфель – иными словами, просто украл из этой свалки, которую даже молодой каймакам² стеснялся называть архивом.

Поначалу я не очень хорошо представлял себе, что делать с книгой, – только снова и снова ее перечитывал. К истории как к науке я все еще относился с недоверием, и потому в рукописи меня интересовала не столько ее научная, культурная, антропологическая или историческая ценность, сколько само повествование. А это заставляло меня задуматься об авторе. Поскольку в то время мы с некоторыми моими коллегами были вынуждены уйти из университета, я обратился к делу, которым когда-то занимался мой дед, – к составлению энциклопедий. Не вставить ли, подумал я, статью об авторе книги в «Энциклопедию знаменитых людей», в которой я отвечал за историческую часть?

Этой задаче я стал уделять все время, свободное от работы над энциклопедией и застолий. Обратившись к основным историческим источникам той эпохи, я сразу заметил, что некоторые события, описанные в книге, не вполне соответствуют действительности. Скажем, во время пятилетнего пребывания Кёпрюлю³ на посту великого визиря в Стамбуле и в самом деле случился большой пожар – но нет никаких свидетельств о сколько-нибудь серьезной эпидемии, тем более о такой опасной вспышке чумы, какая описана в книге. Имена некоторых визирей были написаны неправильно, другие перепутаны, а третьи и вовсе изменены. Имена главных астрологов не совпадали с указанными в дворцовых документах, но я подумал, что у автора были на то причины, и не стал на этом останавливаться. С другой стороны, события, о которых идет речь в книге, как правило, соответствуют нашим «знаниям» о той эпохе, и порой я подмечал это даже в мелких деталях: скажем, убийство главного астролога Хусейна-эфенди или охота Мехмеда IV на зайцев в окрестностях дворца Мирахор очень похоже описаны у Наимы⁴. Я подумал, что автор книги, который, похоже, любил читать и обладал хорошим воображением, изучил, должно быть, немало подобных источников и кое-что из них позаимствовал для своего рассказа; он говорит, что был знаком с Эвлией Челеби⁵, но, скорее всего, на самом деле только читал его сочинения. Впрочем, некоторые другие примеры наводили меня на мысли о том, что могло быть иначе, и я не терял надежды напасть на след моего автора, но упорные поиски в

¹ Гебзе – небольшой город в азиатской части Турции, неподалеку от Стамбула. (*Здесь и далее – примеч. перев.*)

² Каймакам – глава районной администрации.

³ [Мехмед-паша] Кёпрюлю (1575?–1661) – великий визирь Османской империи в 1656–1661 годах.

⁴ [Мустафа] Наима (1652–1716) – первый официальный летописец Османской империи, занимавший ряд важных должностей при султанском дворе.

⁵ Эвлия Челеби (1611–1682?) – знаменитый османский путешественник, автор «Книги путешествий».

стамбульских библиотеках лишь делали ее все более призрачной. Мне не удалось отыскать ни одной книги, ни одного трактата из тех, что были преподнесены султану Мехмеду IV с 1652 по 1680 год, ни в библиотеке дворца Топкапы, ни в других библиотеках, куда, как мне представлялось, эти сочинения могли попасть из дворцового собрания. Я напал лишь на один-единственный след: в этих библиотеках были книги, переписанные каллиграфом-левшой, которого упоминает мой автор. Некоторое время я пытался идти по этому следу, но безрезультатно: из итальянских университетов, которые я завалил запросами, приходили неутешительные ответы; попытки найти имя автора, не названное в книге, но подсказанное самим ее текстом, на кладбищах Гебзе, Дженнетхисара и Ускюдара окончились ничем. Я бросил поиски и написал статью для энциклопедии на материале самой книги. Как я и боялся, статью не напечатали – не потому, что она была недостоверна с научной точки зрения, а потому, что человека, о котором в ней шла речь, признали недостаточно знаменитым.

Может быть, именно оттого моя одержимость этой историей еще больше усилилась. Я даже подумывал уволиться, но я любил свою работу и своих коллег. Одно время я рассказывал о книге всем и каждому – с таким волнением, будто не нашел ее, а сам написал. Чтобы возбудить любопытство собеседника, я говорил о ее символическом значении, о том, как она перекликается с современной действительностью, о том, что, прочитав ее, я лучше понял наши дни, и прочее в том же духе. Мои речи вызывали интерес у молодых людей, мысли которых были куда больше заняты политикой, социальной напряженностью, вопросами отношений Востока и Запада и проблемами демократии, однако и они, подобно моим приятелям по застольям, вскоре забыли о ней. Один мой друг, профессор, прочитавший книгу по моей просьбе, сказал, возвращая ее мне, что в деревянных домах стамбульских переулков хранятся десятки тысяч рукописей, в которых подобного рода историй пруд пруди, и если обитатели дома не прячут эти книги куда-нибудь на верхнюю полку шкафа, приняв за Коран, то страница за страницей расходуют на растопку печки.

В конце концов я решил, что эту историю, к которой я возвращался снова и снова, нужно опубликовать – и в этом меня поддержала одна девушка, не выпускавшая из рук сигарету. Читатель увидит, что, когда я переводил книгу на современный турецкий язык, меня совершенно не волновали вопросы стиля. Работа шла так: прочитав несколько строк рукописи, лежащей на столе, я шел в другую комнату, где на другом столе лежал лист бумаги, и пытался передать содержание прочитанного современными словами. Заглавие книге дал не я, а издательство, согласившееся ее напечатать. Возможно, увидев посвящение на первой странице, читатель спросит, не скрывается ли в нем некий подтекст. Мне кажется, это болезнь нашего времени – во всем видеть какие-то связи. Не устоял перед этим недугом и я, потому и публику эту историю.

Фарук Дарвиноглу

1

Мы шли из Венеции в Неаполь, когда турецкие корабли преградили нам путь. У нас было всего три суденышка, а их галеры выходили из тумана бесконечной чередой. Наш корабль мгновенно охватила паника, начался переполох; среди гребцов, большинство которых были турками и уроженцами Магриба, послышались радостные возгласы, и мы пали духом. Наше судно, как и два других, повернуло в сторону суши, на запад, но плыло не так быстро, как те. Капитан, опасаясь, что, попав в плен, будет подвергнут жестокой казни, все никак не решался пустить в ход плети, чтобы подгонять рабов-гребцов. Впоследствии я не раз задумывался о том, что трусость капитана изменила всю мою жизнь.

А сейчас я думаю, что моя жизнь изменилась бы именно в том случае, если бы капитан на краткий миг не поддался трусости. Многие знают, что жизнь не предопределена изначально и все, что происходит с людьми, представляет собой, по сути, цепочку случайностей. И все-таки даже те, кому ведома эта истина, в определенный период своей жизни, обернувшись на прожитое, понимают, что события, которые они в свое время воспринимали как случайность, на самом деле были предопределены. Пришла такая пора и для меня, и сейчас, когда я пишу книгу, сидя за своим старым столом и вспоминая цвета турецких кораблей, выступающих из тумана словно призраки, я думаю, что эта пора – самое лучшее время для того, чтобы начать какую-нибудь историю и рассказать ее до конца.

Два других корабля, проскользнув между турецкими галерами, скрылись в тумане; увидев это, наш капитан почувствовал надежду на спасение и набрался наконец смелости применить плети – но было уже поздно, да и на рабов, почуввавших близость свободы, удары не действовали. Разорвав пугающую пелену тумана, перед нами разом возникли разноцветные турецкие галеры, их было больше десяти. Капитан, желая, как мне кажется, справиться не столько с противником, сколько с собственной трусостью и растерянностью, принял решение драться. Он приказал нещадно бить гребцов и готовить к бою пушки, но воинственный дух, вспыхнувший столь поздно, быстро угас. На нас обрушились яростные залпы бортового огня, и, если бы мы не сдались немедленно, наш корабль утонул бы; так что мы решили поднять белый флаг.

Пока мы ждали, когда к нам по безмятежному морю подойдут турецкие корабли, я спустился в свою каюту, навел там порядок, словно ожидал не врагов, которые перевернут мою жизнь, а друзей, пообещавших зайти в гости; потом открыл свой дорожный сундучок и рассеянно перебрал книги. Когда я листал том, который купил во Флоренции за большие деньги, к моим глазам подступили слезы; я слышал доносящийся снаружи шум, крики и топот, думал, что скоро мне предстоит расстаться с книгой, которую я держу в руках, но хотелось мне думать не об этом, а о том, что написано на страницах книги, словно изложенные в ней мысли, фразы ее и уречения таили в себе все мое прошлое, которое я не хотел терять. Я бормотал вслух первые попавшиеся строчки, словно читал молитву; мне хотелось сохранить всю книгу в своей голове, чтобы после прихода врагов не думать о них и о тех мучениях, которым они меня подвергнут, а вызывать в памяти краски прошлого, мысленно повторяя милые, с любовью заученные наизусть слова книги.

В те времена я был другим человеком, которого мать, невеста и друзья называли другим именем. Мне и сейчас иногда снится тот, кто был мной, – или тот, о ком я сейчас так думаю, – и я просыпаюсь в холодном поту. Этот человек двадцати трех лет, чей образ является мне в поблекших красках, похожих на неясные, словно увиденные во сне цвета всех тех небывалых стран, неведомых зверей и невероятного оружия, что мы выдумывали в последующие годы, изучил во Флоренции и Венеции «науки и искусства», полагал, что хорошо знает астрономию, математику и физику, был, разумеется, весьма доволен собой, усвоил большую часть того, что

было сделано до него, смотрел на все это свысока и не сомневался, что сделает лучше, считал себя умнее и талантливее всех; словом, это был самый обыкновенный молодой человек. Впоследствии, когда мне раз за разом приходилось придумывать свое прошлое, меня злило то, что я был тем молодым человеком, который рассказывал любимой о своих мечтах и планах, делился мыслями о науке и устройстве мира и восхищение своей невесты воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Однако я утешаю себя мыслью, что те, кому достанет терпения дочитать однажды до конца эти мои записки, поймут – тот молодой человек был не я. Возможно, эти терпеливые читатели подумают, как думаю сейчас я, что однажды этот молодой человек, прервавший свой рассказ, чтобы почитать любимые книги, продолжил его с того места, на котором остановился.

Когда турки взяли наш корабль на abordаж, я сложил книги в сундучок и поднялся на палубу. Там было настоящее светопреставление. Всех согнали в кучу и заставили раздеваться донага. Я подумал, не прыгнуть ли, пользуясь суматохой, в море, но побоялся, что за мной пустятся в погоню и, поймав, сразу убьют; к тому же я не знал, далеко ли берег. Меня тем временем как будто не замечали. Освобожденные от цепей рабы-мусульмане радостно гомонили, некоторые уже собирались на месте расправиться со своими надсмотрщиками-кнутобоями. Я вернулся к себе. Вскоре меня нашли, стали обыскивать каюту, тащить из нее мои вещи, рыться в сундуках в поисках золота, попутно прихватывая и некоторые мои книги. Затем появился еще один человек, взглянул, как я рассеянно листаю одну из оставшихся книг, и отвел к турецкому капитану.

Капитан, о котором впоследствии я узнал, что был он генуэзцем-вероотступником, отнесся ко мне хорошо, спросил, что я знаю и умею. Чтобы меня не отдали в гребцы, я сразу выпалил, что знаю астрономию и могу находить ночью путь по звездам, но это не вызвало у них интереса. Тогда, надеясь подтвердить свои слова книгой по анатомии, которую у меня не забрали, я назвался врачом. Вскоре ко мне подвели раненого, которому оторвало руку, но я заявил, что не силен в хирургии. Это вызвало гнев, и меня уже собирались посадить на весла, как вдруг капитан, взглянув на мои книги, спросил, могу ли я определять болезни по пульсу и цвету мочи. Я ответил утвердительно; так мне удалось спастись от участи гребца и уберечь несколько своих книг.

Однако это привилегированное положение дорого мне обошлось. Другие христиане, посаженные на весла, сразу же меня возненавидели. Была б их воля, они убили бы меня в трюме, куда нас всех запирали по ночам, но убивать меня они поостереглись, увидев, как быстро я столкнувался с турками. Нашего трусливого капитана посадили на кол, надсмотрщикам отрезали уши, вырвали ноздри и пустили на плоту в море – для устрашения прочих. Когда у некоторых турок, которых я лечил, опираясь не столько на знания анатомии, сколько на здравый смысл, сами собой затянулись раны, все поверили, что я и в самом деле лекарь. Даже некоторые мои враги из числа завистников, говорившие туркам, что я не врач, стали по ночам в трюме показывать мне свои раны.

В Стамбуле нас ожидал пышный прием. Говорили, что сам малолетний султан наблюдал за нами. На всех мачтах были подняты турецкие знамена, а ниже висели взятые на христианских кораблях флаги, изображения Мадонны и перевернутые кресты, в которые юные сорванцы стреляли из луков. Тем временем начали палить пушки, сотрясая небо и землю. Торжества, подобные которым я впоследствии то с грустью, то со скукой, то с радостью не раз наблюдал с суши, все никак не кончались; некоторые зеваки, перегревшись на солнце, падали в обморок. Под вечер мы встали на якорь в Касым-Паша⁶.

⁶ Касым-Паша и упоминающаяся ниже Галата – районы Стамбула на берегу залива Золотой Рог, напротив исторической части города.

Нас сковали цепями, чтобы показать султану; на военных смеха ради надели задом наперед доспехи, капитанам и офицерам на шеи повесили железные обручи и под издевательски-веселую музыку, извлекаемую из взятых на нашем корабле труб и барабанов, всех нас с ликованием повели во дворец. Выстроившийся вдоль дороги народ глазел на нас с веселым любопытством. Султан, которого нам увидеть не удалось, отобрал свою долю пленников, а остальных, среди которых был и я, отправили в Галату, в зиндан⁷ Садык-паши.

Зиндан этот был ужасным местом, где в маленьких сырых клетушках заживо гнили в грязи сотни пленников. Я нашел там множество страждущих, на которых мог упражняться в своем новом ремесле, кое-кому даже сумел помочь. Прописывал я лекарства и стражникам, мучающимся от боли в спине и в ногах. Поэтому меня снова отделили от остальных, предоставили закуток получше, куда хотя бы проникал солнечный свет. Глядя на ужасное положение других пленников, я пытался заставить себя благодарить судьбу, но однажды утром меня подняли вместе со всеми и велели идти работать. Я заикнулся было о том, что я лекарь, сведущий в медицине, в науке, но надо мной лишь посмеялись: паша велел надстроить стену вокруг своего сада, нужны были люди. По утрам, еще до восхода солнца, нас сковывали цепями и вели за город. Весь день мы собирали камни, а вечером, когда нас, снова сковав, гнали назад, в зиндан, я думал о том, что Стамбул – прекрасный город, но жить здесь нужно не рабом, а господином.

Впрочем, я все же не был простым рабом. Я уже пользовал не только своих гниющих в зиндане товарищей по несчастью, но и свободных людей, прослышавших, что я врач. Большую часть добываемых врачеванием денег я был вынужден отдавать надзирателям и стражникам, которые тайком выпускали меня из зиндана. Деньги, которые мне удавалось от них утаить, я тратил на уроки турецкого языка. Учил меня пожилой добросердечный человек, выполнявший различные мелкие поручения паши. Он радовался, видя, как быстро я овладеваю турецким, и говорил, что скоро я стану мусульманином. Когда я отдавал ему деньги за урок, он каждый раз принимал их с великим смущением. Кроме того, я платил ему за то, что он приносил мне поесть: я решил, что буду хорошо заботиться о себе в плену.

Однажды вечером, когда на город опустился туман, в мою каморку вошел надзиратель и сказал, что меня желает видеть паша. Я удивился, пришел в волнение, собрался в мгновение ока. На ум мне взбрело, что кто-нибудь из моих предприимчивых родственников – может, отец, а может быть, будущий тесть – уже прислал за меня выкуп. Когда мы шли по окутанном туманом кривым, узким улочкам, я представлял себе, как тут же отправляюсь домой или встречаю своих родных прямо здесь, словно очнувшись от страшного сна. Ведь иногда, думал я, остающиеся в Европе родные всеми правдами и неправдами находят способ прислать кого-нибудь, чтобы договориться об освобождении пленника; вдруг меня прямо сейчас, пока даже туман еще не рассеялся, посадят на корабль и отправят на родину? Но, едва войдя в особняк паши, я понял, что так легко не отделаюсь. Люди ходили здесь на цыпочках.

Сначала меня оставили ждать в прихожей, потом провели в покои. Там на скромной постели лежал, натянув на себя одеяло, небольшого роста благообразный человек; рядом сидел другой, высокий здоровяк. Лежавший на постели и была паша. Он велел мне подойти поближе и завел со мной разговор. Отвечая на его вопросы, я поведал, что изучал астрономию, математику и немного – инженерное дело, но разбираюсь также в медицине и многих уже вылечил. Я бы рассказал ему еще что-нибудь, но он прервал меня, сказав, что я, похоже, человек умный, раз так быстро выучил турецкий, и прибавил: он болен, другие лекари не смогли ему помочь, и он, услышав обо мне, желает испытать мои умения.

И паша начал расписывать свою болезнь, причем так, будто во всем мире от нее страдал только он один, потому что враги оговорили его перед Аллахом. А между тем у него была известная нам астма. Я хорошенько расспросил его, послушал кашель, потом прошел

⁷ Зиндан – тюрьма, место содержания пленников.

на кухню и из того, что там отыскивалось, приготовил зеленые мятные пилюли и микстуру от кашля. Поскольку паша опасался, что его могут отравить, я у него на глазах отпил немного микстуры и проглотил одну пилюлю. Паша велел, чтобы меня незаметно вывели из особняка и вернули в зиндан. Ему не хотелось (как объяснил мне позже надзиратель) вызывать зависть у других лекарей. На следующий день я снова отправился к паше, послушал его кашель и дал те же лекарства. Разноцветные пилюли, которые я положил ему на ладонь, обрадовали его, как ребенка. Вернувшись в свою каморку, я стал молиться, чтобы ему полегчало. Наутро подул северо-восточный ветерок. В такую отличную погоду, думал я, и не захочешь, а выздоровеешь, но за мной никто не пришел.

Минув месяц, и меня снова отвели к паше посреди ночи. Паша был на ногах и весьма бодр. Я обрадовался, услышав, как он распекает кого-то, явно не испытывая трудностей с дыханием. Меня он принял ласково, сказал, что я его вылечил, что я хороший лекарь. Чего бы мне хотелось у него попросить? Мне было ясно, что на волю он меня сразу не отпустит, так что я стал жаловаться на свою темницу и на цепи; сказал, что принесу больше пользы, если буду заниматься медициной, астрономией, наукой, а не выбиваться из сил на тяжелых работах. Уж не знаю, насколько внимательно он меня слушал. Большую часть денег из мешочка, который он мне дал, отобрали стражники.

Еще через неделю ночью ко мне пришел надсмотрщик, велел поклясться, что не сбегу, и снял цепи. Меня по-прежнему водили на работы, но теперь стражники стали относиться ко мне снисходительно. Когда три дня спустя мне принесли новую одежду, я понял, что паша обо мне заботится.

Меня продолжали звать в особняк по ночам. Я давал лекарства старым морским разбойникам, страдающим ревматизмом, и молодым воинам, которые мучились животом; отворял кровь чесоточным и тем, кому не давала покоя головная боль. Однажды мои снадобья за неделю излечили от заикания сына одного из слуг, и он прочел мне стихотворение.

Так прошла зима. Затем меня несколько месяцев не звали в особняк, и я выяснил, что в начале весны паша с флотом отплыл в Средиземное море. Тянулись жаркие летние дни. Некоторые из тех, кто видел охватившие меня отчаяние и злость, говорили, что мне грех жаловаться на мое положение, что врачебное искусство приносит мне хорошие деньги. Один бывший раб, много лет назад перешедший в ислам и обзаведшийся семьей, убеждал меня бежать. Полезному им рабу, говорил он, турки никогда не позволят вернуться на родину, так и будут морочить голову. Единственный способ обрести свободу – стать, подобно ему, мусульманином. Заподозрив, что все это он говорит, дабы выведать мои намерения, я сказал, что о побеге даже не помышляю. На самом деле мне просто не хватало смелости. Беглые рабы не успевали уйти далеко. Их быстро ловили и подвергали побоям, и потом я по ночам обрабатывал целебной мазью раны этих несчастных.

Ближе к осени паша вернулся с флотом из похода. Он отсалютовал султану пушечными залпами и постарался, как и в прошлом году, устроить городу праздник, но было совершенно очевидно, что на этот раз удача отвернулась от флота. Вот и в зиндан доставили очень мало новых рабов. Потом мы узнали, что венецианцы сожгли шесть турецких кораблей. Я попытался, пользуясь случаем, переговорить с новыми пленниками в надежде получить какие-нибудь известия из родного края, но большинство из них были испанцами, молчаливыми, невежественными и испуганными. Говорить они ни о чем не могли, лишь просили помощи и еды. Только один из них привлек мое внимание: он остался без руки, но не падал духом и утверждал, что ровно то же самое произошло с неким его предком, который, освободившись, уцелевшей рукой стал писать рыцарские романы; мой новый знакомый верил, что его ждет такая же судьба. Впоследствии, в те годы, когда мне приходилось сочинять истории, чтобы жить, я вспоминал этого человека, который мечтал жить, чтобы сочинять истории. Вскоре в зиндане

возникло моровое поветрие, погубившее более половины рабов; я спасся благодаря тому, что щедрыми подношениями умолил стражников оградить меня от встреч с заболевшими.

Тех, кто выжил, стали водить на новые работы – но не меня. По вечерам рабы рассказывали, что ходили в самый дальний конец Золотого Рога, где их отдавали в распоряжение плотников, портных и маляров, которые делали из картона корабли, крепости и башни. Затем нам стало известно, что паша собирается женить своего сына на дочери великого визиря и готовит грандиозные свадебные торжества.

Однажды утром меня вызвали в особняк паши. По дороге я думал, что у него опять начались приступы астмы. Паша был занят, меня посадили в одну из комнат особняка и велели ждать. Вскоре открылась другая дверь и вошел человек лет на пять-шесть старше меня. Я взглянул ему в лицо и внезапно похолодел от страха!

2

Человек, вошедший в комнату, был поразительно, невероятно похож на меня. Да это я и был! Такая мысль промелькнула у меня, едва я его увидел. Словно бы некто, желая сыграть со мной шутку, снова ввел меня в комнату через дверь прямо напротив той, в которую я недавно вошел, и сказал мне: посмотри, вот каким ты должен быть на самом деле, вот как ты должен был войти в дверь, вот какие у тебя должны быть жесты, вот как должен был смотреть на тебя сидящий в комнате человек. Мы встретились взглядами и поздоровались. Он, однако, не выказал ни малейшего удивления. Тогда я решил, что не так уж мы и похожи: у него была борода, к тому же я ведь, должно быть, и сам уже забыл, как выглядит мое лицо. Когда он усаживался напротив меня, я вспомнил, что целый год не смотрелся в зеркало.

Вскоре та дверь, в которую вошел я, отворилась, его позвали, а я снова остался ждать. Подумав, я решил, что это все-таки была не мастерски сыгранная шутка, а игра воображения, порожденная моим тоскующим разумом. Дело в том, что в те дни мне постоянно являлись видения: вот я вернулся домой, все встречают меня – и вдруг исчезают, и я понимаю, что сплю в своей каюте на корабле, а все события последних месяцев мне приснились; и другие утешительные сказки в том же духе мерещились мне. Когда дверь открылась и меня позвали, я готов уже был утвердиться в мысли, будто увидел одну из этих сказок, только увидел наяву, и это знак, что скоро все чудесным образом переменится и будет как раньше.

Паша стоял рядом с человеком, похожим на меня. Он велел мне поцеловать край одежды этого человека, потом спросил, как у меня дела, но, когда я заговорил о тяготах жизни в неволе и своем желании вернуться домой, он и слушать не стал. Паша сказал, что помнит: я рассказывал ему, будто разбираюсь в науке, астрономии и инженерном деле, а как насчет пороха и фейерверков? Я сразу же ответил, что и в этом знаю толк, но, поймав на мгновение взгляд того, другого человека, испугался: уж не готовят ли мне какую-то ловушку?

Паша тем временем заговорил о грядущей свадьбе: она будет такой, какой никогда не бывало, и фейерверк на ней должен быть непохожим на другие, каким-то совершенно невиданным. В прошлый раз, когда фейерверк устраивали по случаю рождения султана, человек, похожий на меня (паша называл его просто Ходжой⁸), готовил огненную потеху вместе с одним мальтийцем, мастером этого дела, но тот с тех пор умер, и паша подумал, не смогу ли я оказаться полезным Ходже. Мы должны друг друга дополнить. Если представление будет хорошим, он, паша, в долгу не останется. Я решил, что настал благоприятный миг, и заговорил о том, что единственное мое желание – вернуться на родину, но паша спросил, ложился ли я с женщинами с тех пор, как оказался здесь, и, когда я сказал, что нет, объявил, что свобода мне не нужна, ибо на что нужна свобода без этого дела? Он говорил грубыми словами, которые употребляли стражники; видимо, я смотрел на него с преглупым видом, потому что он рассмеялся. Затем паша повернулся к схожему со мной человеку и сказал, что Ходжа будет за меня отвечать. Мы вышли.

Пока мы шли тем утром к дому Ходжи, я размышлял о том, что не знаю абсолютно ничего такого, чему мог бы его научить. Но и он, как оказалось, знал не больше меня. А имеющиеся у нас знания подсказывали нам одно и то же: самое главное – приготовить хорошую камфорную смесь. Поэтому занялись мы тем, что, тщательно взвешивая составляющие, готовили горючие смеси, испытывали их по ночам под городскими стенами и сравнивали результаты. Пока наши помощники под восхищенными взглядами собравшихся детей запускали ракеты, мы сидели в темноте под деревьями, с любопытством и волнением ожидая вспышки, – точно так же, как много лет спустя, только уже при свете дня, будем ждать исхода испытаний нашего чудо-ору-

⁸ Ходжа – здесь: учитель, наставник. Вежливое обращение к образованному человеку.

жия. Затем – иногда при свете луны, а порой и в полной темноте – я пытался записать увиденное в маленькую тетрадь. Возвращаясь под покровом темноты в дом Ходжи, окна которого выходили на Золотой Рог, мы долго обсуждали, чего добились.

Дом этот был маленький, невзрачный и неуютный. Стоял он на кривой улочке, по которой непонятно откуда текла грязная вода, отчего земля вечно была раскисшей. В самом доме не имелось почти никаких вещей, но каждый раз, когда я входил в него, мне становилось тесно и как-то тоскливо. Может быть, это чувство вселял в меня хозяин дома, который велел называть его Ходжой, поскольку не любил имя, данное ему в честь деда: он наблюдал за мной, словно чему-то хотел от меня научиться, но еще не знал, чему именно. Поскольку мне было неприятно сидеть на тюфяках, которые он клал у стены, то я оставался стоять, когда мы обсуждали наши опыты, а иногда принимался возбужденно расхаживать по комнате. Мне кажется, Ходже это нравилось: сам-то он сидел и мог вдоволь наблюдать за мной, пусть и в тусклом свете лампы.

Ощущая на себе его взгляд, я чувствовал беспокойство из-за того, что он не замечает сходства между нами. Несколько раз мне казалось, что он все же сходство заметил, но постарался не подать виду. Он словно играл со мной: ставил на мне маленькие опыты и что-то невдомое для себя отмечал. В первые дни он смотрел на меня так, будто узнаёт что-то новое и ему становится все интереснее, однако он словно бы не решался сделать еще один шаг, чтобы углубить это странное знание. Именно эта неопределенность угнетала меня, из-за нее мне было так душно в его доме! Конечно, нерешительность Ходжи придавала мне смелости, но не успокаивала. Дважды он пытался вызвать меня на спор: первый раз, когда мы обсуждали наши опыты, и второй – когда он спросил, почему я до сих пор не принял ислам. Сообразив, чего он хочет, я отвечал осторожно. Он почувствовал это; я понял, что он презирует меня, и разозлился. Возможно, в те дни общим между нами было лишь то, что каждый из нас считал другого достойным презрения. Я старался не показывать этого, поскольку надеялся, что, если фейерверк удастся и все пройдет благополучно, мне разрешат вернуться на родину.

Как-то ночью, когда одна из наших ракет взлетела необычайно высоко, обрадованный успехом Ходжа сказал, что когда-нибудь сможет сделать ракету, которая долетит до самой Луны; дело лишь за тем, чтобы отыскать нужную пороховую смесь и отлить корпус, который можно было бы начинить этим порохом. Я начал говорить, что до Луны очень далеко, но он прервал меня: ему и без того известно, что Луна очень далеко, но разве это не самая близкая к Земле звезда? Я согласился, но он, в противоположность моим ожиданиям, не успокоился и даже еще пуще разволновался, но ничего больше не сказал.

Два дня спустя в полночь Ходжа спросил, почему я так уверен, что Луна – самое близкое к нам небесное тело. Что, если это обман зрения? Тогда я впервые рассказал ему, что изучал астрономию, и вкратце изложил основные законы птолемеевой космографии. Я видел, что он слушает с любопытством, но молчит, потому что не хочет обнаруживать свой интерес. Через некоторое время, когда я замолчал, он сказал, что и сам знаком с учением Батламиуса⁹, но это не мешает ему подозревать, что существует небесное тело, которое ближе к Земле, чем Луна. Под утро он говорил об этом теле так, будто уже добыл доказательства его существования.

На следующий день он сунул мне в руки написанную скверным почерком книгу. Моих скудных знаний турецкого хватило, чтобы понять: это краткое изложение «Альмагеста»¹⁰, причем, похоже, не собственно оригинала, а пересказа. Меня заинтересовали только арабские названия планет, да и то не слишком: в то время я не был расположен интересоваться подобными вещами. Увидев, что книга оставила меня равнодушным и я отложил ее в сторону, Ходжа

⁹ Батламиус – так в исламских странах называли Птолемея.

¹⁰ «Альмагест» – арабизированное название основного труда Птолемея «Великое математическое построение по астрономии» (греч. «Мэгисте»), появившегося около 140 года и включавшего полный свод астрономических знаний Греции и Ближнего Востока того времени.

рассердился и сказал: с моей стороны было бы правильнее переступить через свое самодовольство и повнимательнее ознакомиться с книгой, за которую он отдал семь золотых монет. Как послушный ученик, я снова открыл книгу, начал терпеливо перелистывать страницы и наткнулся на примитивную схему небесной сферы. Планеты были расположены вокруг Земли на безыскусно начерченных орбитах, причем если порядок орбит художник обозначил верно, то о расстояниях между ними не имел ни малейшего представления. Затем я заметил маленькую звездочку, изображенную между Землей и Луной; приглядевшись, я понял, что ее пририсовали позднее – чернила были совсем свежие. Пролистав книгу до конца, я отдал ее Ходже. Он заявил, что найдет эту маленькую звездочку, и было ясно, что говорит он совершенно серьезно. Я промолчал, и наступила тишина, раздражавшая его не меньше, чем меня. Поскольку ни одна из наших ракет так и не взлетела настолько высоко, чтобы навести нас на разговор об астрономии, этой темы мы больше не касались. Наш маленький успех оказался случайностью, чьей тайны мы так и не раскрыли.

Но вот в том, что касалось яркости и блеска огней, мы изрядно преуспели, и секрет этого достижения нам был известен: обходя одну за другой стамбульские лавки, Ходжа нашел у кого-то из торговцев желтоватый порошок, названия которого купец и сам не знал (мы решили, что это смесь серы и медного купороса); порошок этот придавал пламени великолепный блеск. Затем, желая, чтобы пламя сияло разными цветами, мы добавляли к нашему порошку все, что только могли придумать, но всего-то и получили, что едва отличимые друг от друга светло-коричневый и бледно-зеленый. Ходжа, впрочем, говорил, что ничего лучше этого Стамбул все равно никогда прежде не видел.

Так оно и было. После нашего представления, устроенного на вторую ночь свадебных торжеств, все лишь о нем и говорили – даже наши враги, которые строили козни, чтобы порученное нам дело передали им. Когда я услышал, что на противоположный берег Золотого Рога теперь придет посмотреть на фейерверк сам султан, мне стало не по себе; я перепугался: вдруг что-нибудь пойдет не так и я еще долгие годы не смогу вернуться на родину? Когда велели начинать, я забормотал слова молитвы. Сначала, чтобы поприветствовать гостей и подготовить их к представлению, мы запустили вертикально вверх ракеты с бесцветным пламенем, а сразу за ними привели в действие машину с большим железным ободом, которую мы с Ходжей называли «мельницей». Небо мгновенно окрасилось в красный, желтый и зеленый; раздался ужасный грохот, еще более внушительный, чем мы ожидали. Взлетали ракеты, обод крутился все быстрее и быстрее и вдруг остановился, осветив все вокруг как днем. Мне на мгновение показалось, что я в Венеции; впервые в жизни подобное представление я увидел восьмилетним мальчком и тогда, как и сейчас, был несчастен, потому что мой новый красный кафтан надели не на меня, а на моего старшего брата, чья одежда порвалась, когда мы подрались накануне. Пламя, вылетающее из ракет, было таким же красным, как насилию напряженный на брата кафтанчик с множеством пуговиц (пуговицы тоже отливали красным) – мой кафтанчик, который я не смог надеть в ту ночь и поклялся не надевать уже никогда.

Затем пришел черед устройства, которое мы называли «источник»: из-под крыши на высоте в пять человеческих ростов потек вниз огонь, который лучше всего было видно людям на противоположном берегу; а когда следом из «источника» начали вылетать ракеты, зрители наверняка восхитились не меньше нашего, но мы хотели поразить их еще сильнее. На воде Золотого Рога уже покачивались плоты. Сначала загорелись картонные крепости и замки, испуская из башен ракеты; это зрелище символизировало победы минувших лет. Проплыли парусники, захваченные в год моего пленения, и другие корабли обрушили на них дождь из ракет; так я снова пережил день, когда потерял свободу. Картонные корабли загорелись и начали тонуть, и с обоих берегов понеслись восторженные крики: «Аллах! Аллах!» Тогда мы привели в движение драконов, из ушей и ртов которых вырывались языки пламени. По нашей воле драконы сцепились друг с другом в яростной схватке; как мы и задумали, поначалу ни

один не мог победить; мы еще больше накалили атмосферу, пуская с берега ракеты, а потом, когда они отгремели и стало чуть темнее, наши люди на плотях принялись крутить колеса, и драконы начали медленно подниматься к небу. Зрители завопили от восторга, смешанного со страхом; когда драконы снова с грохотом обрушились друг на друга, с плотов разом запустили все оставшиеся ракеты; прикрепленные к туловищам драконов фитили вспыхнули именно в тот момент, когда было нужно, и все вокруг, как мы и замыслили, превратилось в геенну огненную. Я понял, что мы добились успеха, когда услышал, как рядом рыдает маленький мальчик; его отец, забыв про ребенка, с открытым ртом таращился в пылающее страшным огнем небо. Теперь-то мне будет позволено вернуться домой, думал я. Тем временем в самое сердце пылающего ада, никем не замеченный, вплыл маленький черный плот, везущий на себе создание, которое я прозвал шайтаном; он был увешан таким количеством ракет, что мы боялись, как бы плот вместе с нашими людьми не взлетел на воздух. Но все прошло как по маслу. Когда дерущиеся драконы, израсходовав свой огонь, начали исчезать из виду, ракеты, прикрепленные к шайтану, одновременно вспыхнули и он взвился в небо; затем из его тулова посыпались огненные шары, с треском взрывающиеся в воздухе. Подумав о том, что сейчас весь Стамбул замер в страхе и ужасе, я почувствовал сильное волнение, словно мне тоже стало страшно, словно я наконец отважно приступил к тому, чем хотел заниматься всю жизнь, словно мне сделалось уже совершенно не важно, в каком городе я нахожусь. Мне хотелось, чтобы шайтан всю ночь висел там, над городом, разбрасывая во все стороны пламя. Но он, поколыхавшись немного из стороны в сторону и не причинив никому вреда, под восторженные крики, летевшие с обоих берегов, погрузился в залив. Уходя под воду, он продолжал разбрасывать пламя.

На следующее утро паша, словно в сказке, передал мне через Ходжу мешочек с золотыми монетами. Он сказал, что остался очень доволен зрелищем, но победа шайтана его немного напугала.

Мы устраивали свое представление еще десять ночей. Днем мы приводили в порядок обгоревшие сооружения и придумывали, каким бы еще зрелищем поразить народ, пока пригнанные из зиндана пленники начинали ракеты порохом. Один раб подорвал десять мешочков пороха, обжег себе лицо и ослеп.

Когда свадебные торжества закончились, наши встречи с Ходжей прекратились. Избавившись от общества этого беспокойного человека, чей завистливый взгляд не отпускал меня с утра до вечера, я почувствовал облегчение, но должен признаться, что мои мысли постоянно возвращались к тем напряженным дням, что мы провели вместе. Когда вернусь на родину, думал я, всем расскажу об этом турке, который был так похож на меня и при этом ни разу не заговорил о нашем сходстве.

Теперь я снова жил в своей каморке, ухаживая за больными, чтобы как-то скоротать время; услышав, что меня зовет к себе паша, я обрадовался и поспешил к нему едва ли не бегом. Паша встретил меня похвалой: фейерверк всем понравился, всех очень развлек, я человек весьма способный. Объявив все это поспешной скороговоркой, он вдруг заявил: если я приму ислам, он немедленно отпустит меня на свободу. Я так растерялся, что все мысли вылетели у меня из головы; я сказал, что хочу вернуться в свою страну, и унился даже до того, что принялся бормотать, заикаясь, о своей матери и невесте. Паша, словно не слыша меня, повторил свои слова. На этот раз я не сразу ответил. В голову почему-то лезли воспоминания о друзьях моего детства, отвратительных лентяях и лоботрясах, которые не задумываясь могли поднять руку даже на своих отцов. Когда я сказал, что веру менять не буду, паша рассердился. Я вернулся в свою каморку.

Через три дня паша позвал меня снова. На сей раз он был в хорошем расположении духа. Я между тем никак не мог сообразить, поможет ли смена религии моему побегу, и потому никакого определенного решения еще не принял. Паша спросил, что я надумал, и прибавил, что собирается выдать за меня красивую девушку. Набравшись храбрости, я сказал, что веру

не сменю. Паша слегка удивился и обозвал меня глупцом: ведь здесь нет никого, перед кем мне можно было бы стыдиться своего вероотступничества. Затем он немного рассказал мне об исламском вероучении, а когда замолчал, меня снова отправили в темницу.

На третий раз к самому паше меня уже не повели. Один из его слуг спросил, что я надумал. Может быть, я и переменял бы свое решение, но не слуге же об этом говорить! И я сказал, что пока не готов менять религию. Слуга схватил меня за руку, отвел вниз и передал какому-то другому человеку.

Этот человек был такого хрупкого телосложения, что напоминал видение из сна; он взял меня под руку и с участливым видом, будто помогая больному, повел в укромный уголок сада. По пути к нам присоединился еще один – детина огромного роста, настолько грубо-реальный, что во сне такого никогда не увидишь. Когда мы дошли до стены, они связали мне руки, и я увидел у одного из них топор – не очень большой. По приказу пашши, услышал я, мне отрубят голову, если я не стану мусульманином. Я оцепенел.

Не так быстро, только не так быстро, думал я. В их глазах читалась жалость. Я молчал. Хоть бы больше не спрашивали! Не успел я так подумать, как они спросили еще раз. Так религия вдруг превратилась для меня в нечто такое, во имя чего можно с легкостью отдать жизнь; я преисполнился уважения к себе – и в то же время жалел себя, как и эти двое, что принуждали меня отречься от моей веры своими вопросами. Пытаясь заставить себя думать о чем-нибудь другом, я вообразил, что смотрю из окна в сад позади нашего дома: я вижу стол, на котором стоит инкрустированный перламутром поднос с персиками и черешней; за ним – широкое плетеное кресло, обложенное изнутри пуховыми подушками того же зеленого цвета, что и оконная рама; а еще дальше – колодезь, на краешек которого присел воробей, оливы, черешни и ореховое дерево. К одной из могучих ветвей ореха на длинных веревках подвешены качели, слегка покачивающиеся на едва заметном ветерке. Мне снова задали вопрос, и я ответил, что веру не поменяю. Рядом стояла деревянная колода; меня поставили перед ней на колени и положили на нее мою голову. Я закрыл глаза, но тут же открыл их. Один из палачей взялся за топор, но другой остановил его, сказав, что я, возможно, передумал. Меня подняли на ноги и велели еще немного подумать.

Пока я думал, прямо тут же, рядом с колодой, начали рыть яму. Я решил, что меня собираются в ней похоронить и ужаснулся, подумав, что буду зарыт в землю живым. Я полагал, что волен размышлять, пока мои палачи не выроют могилу, но они, выкопав лишь небольшую ямку, снова подступили ко мне. В этот миг я подумал, как глупо будет умереть здесь и сейчас. Может статься, я и надумал бы перейти в мусульманство, но не имел для этого времени. Вот если бы я вернулся в зиндан, в свою каморку, к которой привык, которую успел полюбить, если бы я провел там в размышлениях ночь, может быть, к утру я и решился бы поменять религию. Но не сейчас.

Меня снова схватили и поставили на колени. Перед тем как голова моя опустилась на плаху, я успел заметить среди деревьев легкое движение и изумился: там, не касаясь ногами земли, бесшумно шел я сам, только обросший бородой. Я хотел окликнуть эту свою тень, мелькнувшую за деревьями, но не смог издать ни звука: мое горло было прижато к колоде. Тогда я подумал, что смерть, приближающаяся с каждым мигом, все равно что сон, смирился со своей участью и стал ждать. По спине и затылку пробегал холодок. Я не хотел ни о чем думать, но не получалось. И тут палачи подняли меня на ноги и, ворча, что паша сильно разгневан, развязали мне руки. Затем они обругали меня врагом Аллаха и Пророка и повели наверх, к паше.

Паша позволил мне поцеловать край его одежды и заговорил со мной поначалу ласково: ему понравилось, что я не пожелал отречься от своей веры, даже когда речь шла о моей жизни и смерти. Затем, впрочем, он начал горячиться; мое упрямство, говорил он, глупо, в том числе и потому, что ислам как религия выше христианства. Чем дальше, тем сильнее он гневался и

заявил в конце концов, что намерен меня наказать. Потом он заговорил о данном им кому-то обещании, и я понял, что это обещание уберегло меня от серьезных неприятностей, а чуть позже догадался, что человек, о котором идет речь (из слов паши выходило, что человек этот весьма странный), – Ходжа. Тут и сам паша сказал наконец, что подарил меня Ходже.

Я смотрел на пашу, не понимая, что он хочет сказать, и паша пояснил: теперь я – раб Ходжи, и он, паша, выдал Ходже на то соответствующую бумагу; мое освобождение зависит теперь от воли Ходжи, который может делать со мной все, что ему угодно. Объявив это, паша вышел из комнаты.

Ходжа, оказывается, тоже был в доме паши – ждал меня внизу. Я понял, что именно его видел в саду среди деревьев. Мы пошли к нему домой. Ходжа сказал, что с самого начала понял: я не отрекся от своей веры. Он даже успел подготовить для меня одну из комнат своего дома. Не голоден ли я? Я еще не успел отойти от страха смерти, и есть мне совсем не хотелось. И все же я съел немного йогурта, который Ходжа поставил передо мной, и пару кусков хлеба. Ходжа с довольным видом наблюдал за тем, как я жую хлеб. Он смотрел на меня, словно крестьянин, который купил на базаре отличную лошадь, кормит ее и размышляет, для какой работы ее лучше использовать. Впоследствии я часто вспоминал этот взгляд. Ходжа, впрочем, смотрел на меня недолго и вскоре увлекся рассуждениями о часах, которые собирался преподнести паше, и о космографии.

Затем он заявил, что я должен научить его всему; для этого-то он и попросил меня у паши и только после этого сможет отпустить меня на волю. Лишь через несколько месяцев я уразумел, что значит «всему». Он хотел знать все, чему я научился в школе и университете, перенять все сведения по астрономии, медицине, инженерному делу и прочим наукам, которые преподают у меня на родине! Далее он желал ознакомиться с содержанием книг, оставшихся в моей каморке, – на следующий день их доставили ему из зиндана, – желал выяснить все, что я видел и слышал, что я думаю о реках, озерах, морях и облаках, о причинах землетрясений и грома... Ближе к полуночи он прибавил, что больше всего его интересуют звезды и планеты. В открытое окно лился лунный свет; Ходжа сказал, что нам непременно нужно будет отыскать доказательства существования той звезды между Луной и Землей – или же доказать, что ее нет. Пока я, еще не изживший потрясения этого дня, когда был на волосок от смерти, вновь невольно отмечал жутковатое сходство между нами, Ходжа постепенно перестал употреблять слово «научить» – теперь он говорил «мы изучим», «мы откроем», «мы достигнем».

И мы начали работать, словно два дружных брата, словно два прилежных ученика, которые продолжают зубрить урок, даже когда дома нет взрослых и некому следить за ними в приоткрытую дверь. На первых порах я по большей части чувствовал себя добрым и снисходительным старшим братом, согласившимся повторить уже пройденное, чтобы ленивый братишка смог его догнать; Ходжа же вел себя так, словно хотел, умничая, доказать, что знания старшего брата ничего особенного собой не представляют. По его мнению, разница в знаниях между нами определялась количеством прочтенных и запомненных мною книг, которые он принес из моей каморки и расставил на полочке. Он обладал огромным прилежанием и острым умом; овладев итальянским, в котором впоследствии усовершенствуется еще больше, он за полгода прочитал все мои книги, и, когда он просил меня повторить кое-что из того, что я знал, становилось понятно, что от моего превосходства не осталось и следа. При этом он держал себя так, словно обладает знанием, превосходящим то, что содержалось в книгах, многие из которых, если не большинство, он считал бесполезными, – знанием подлинным, глубже проникающим в суть вещей. Через полгода после начала занятий мы были уже не двумя соучениками, вместе добивающимися успехов. Ходжа размышлял, а я лишь помогал ему, напоминая кое-какие упущенные им подробности.

Поиском «идей», которые я сейчас по большей части уже забыл, он обычно занимался по ночам, через несколько часов после нашего скромного ужина, когда в квартале давно уже

не горело ни огонька и улицы накрывала тишина. По утрам он ходил преподавать в начальную школу при мечети через два квартала, а два раза в неделю – в муваккитхане¹¹ при другой мечети, в дальнем квартале, где я ни разу не бывал. Все оставшееся время мы либо готовились к ночному поиску идей, либо развивали уже найденные. В то время я еще не терял надежды и верил, что в скором времени смогу вернуться на родину. Мне казалось, что, если я буду опровергать идеи Ходжи, не вызывавшие у меня особого интереса, это может задержать мое возвращение, так что я никогда ему не перечил.

Итак, первый год мы провели, с головой погрузившись в астрономию, дабы найти доказательства того, что воображаемая звезда существует или же ее нет вовсе. Работая с телескопами, стекла для которых за большие деньги были выписаны из Фландрии, с астрономическими приборами и таблицами, Ходжа вскоре забыл о воображаемой звезде; он сказал, что его ум занимает теперь более важная задача: он собирается оспорить систему Батламиуса. До споров, впрочем, у нас не доходило: он говорил, а я слушал. Ходжа называл нелепицей представление о прозрачных сферах, к коим прикреплены звезды: вероятно, их удерживает в небесах что-то другое, например какая-то невидимая сила, может быть сила притяжения; потом он предположил, что Земля – да и Солнце – вращаются вокруг какого-то другого тела, не исключено, что и все звезды вращаются вокруг некоего неведомого нам центра. Далее он заявил, что собирается создать космографическую систему более совершенную, чем у Батламиуса; что он исследовал огромное количество звезд и выдвинет новые теории: возможно, Луна вращается вокруг Земли, а Земля – вокруг Солнца; возможно, центр мироздания – Венера. Однако и это все ему вскоре надоело. Он провозгласил, что сейчас самое важное – не выдвигать новые идеи, а познакомить людей со звездами и их движением, и начнет он с паши. Но тут мы узнали, что Садык-пашу сослали в Эрзурум. Говорили, что он был замешан в неудавшемся заговоре.

Возвращения паши из изгнания мы ждали несколько лет; в это время Ходжа вознамерился написать трактат о природе босфорских течений, и мы месяц за месяцем бродили вдоль пролива, наблюдая течения со склонов холмов под пронизывающим до костей ветром или же спускаясь в долины, где оценивали теплоту и скорость впадающих в Босфор речек.

Выполняя одно поручение паши, мы на три месяца отправились в Гебзе. Там, обратив внимание на то, что в разных мечетях в разное время призывают правоверных к молитве, Ходжа замыслил новое дело: нужно создать часы, которые определяли бы время намаза с безупречной точностью. Тогда же я рассказал ему, что такое стол. Когда этот сколоченный плотником по моим указаниям предмет обстановки принесли в дом Ходжи, стол поначалу ему не понравился; он решил, что стол, неприятно поразивший его своим сходством с плитой, на которую кладут покойника во время погребального намаза, принесет в дом несчастье; но потом Ходжа привык и к столу, и к стульям и даже говорил, что за столом ему лучше думается и пишется. Когда мы возвращались в Стамбул, чтобы изготовить для наших часов эллиптическую систему зубчатых колесиков, соответствующую солнечной орбите, стол следовал за нами на спине осла.

В те первые месяцы наших ученых трудов, когда мы сидели за столом друг против друга, Ходжа пытался сообразить, как лучше определять часы намаза и поста в холодных странах, где по причине круглой формы Земли продолжительность дня и ночи совершенно иная. Другой занимавший его вопрос заключался в том, существует ли еще такое место, кроме Мекки, где правоверный, как бы он ни встал на молитву, всегда обращает свое лицо в сторону Каабы. Замечая, что я в глубине души считаю эти вопросы совершенно неважными, Ходжа бросал на меня презрительный взгляд, но я в такие моменты утешал себя мыслью, что он ощущает мое превосходство; а он, наверное, злился, понимая, что я догадываюсь об этом, и пускался в рассуждения о разуме, пространностью не уступавшие его рассуждениям о науке. По возвращении

¹¹ *Муваккитхане* – помещение, где хранились приборы, с помощью которых определяли время намаза.

паши в Стамбул Ходжа собирался произвести на него впечатление своими замыслами, новыми часами и новой космографической теорией, которую намеревался усовершенствовать и сделать понятной с помощью механической модели Вселенной; так он посеет в Стамбуле семена Возрождения и заразит всех своей любознательностью. Итак, мы оба пребывали в ожидании.

3

В те дни Ходжа размышлял о том, как создать еще более крупный механизм, который позволил бы заводить и отлаживать часы не раз в неделю, а по меньшей мере раз в месяц; впоследствии он надеялся усовершенствовать этот механизм так, чтобы часы для определения времени намаза достаточно было отлаживать всего раз в год, и выход видел в том, чтобы найти силу, позволяющую приводить в движение механизм, который становился бы все больше и тяжелее по мере увеличения промежутков между заводом часов. Тут он узнал от своих друзей из муваккитхане, что паша вернулся из Эрзурума.

На следующее утро Ходжа отправился к паше с поздравлениями. Тот заметил его в толпе гостей, проявил интерес к его изобретениям и даже спросил обо мне. Ночью мы разобрали часы и собрали их заново, добавили кое-что в модель Вселенной, раскрасили звезды. Ходжа прочитал мне на память отрывки из выученной им речи о логике движения небесных тел, которую усыпал пышными поэтическими оборотами, чтобы произвести впечатление на слушателей. Под утро, пытаясь справиться с волнением, он отбарабанил эту речь еще и задом наперед, затем погрузил в нанятую телегу наши механизмы и отправился в дом паши. Я удивился, увидев, какими маленькими кажутся в одноконной повозке часы и модель Вселенной, составные части которых несколько месяцев загромождали наш дом. Вернулся Ходжа очень поздно.

Когда механизмы выгрузили из телеги и принесли в сад, паша осмотрел эти странные предметы с неприятной холодностью старика, не расположенного смеяться над шутками. Ходжа тут же произнес свою вытверженную наизусть речь, а паша вспомнил обо мне и изрек слова, которые через несколько лет скажет султан: «Это он тебя всему научил?» – и только. «Кто?» – ответил Ходжа, чем сильно удивил пашу, но тут же сообразил, что речь идет обо мне. Паша назвал меня ученым дураком. Пересказывая все это, Ходжа думал не обо мне – мыслями он был еще в доме паши. Он упрямо повторил, что все это его собственные открытия, но паша ему не поверил; паше словно бы хотелось изобличить преступника, и он никак не желал согласиться с тем, что преступник – его любимец Ходжа.

Итак, вместо того чтобы повести беседу о звездах, они говорили обо мне. Разумеется, подобный оборот дела Ходже никак не мог понравиться. Он замолчал, паша отвлекся, заговорил с другими гостями. За ужином, когда Ходжа снова попытался рассказать о звездах и своих открытиях, паша сказал, что пытается вспомнить мое лицо, но в памяти всплывает только лицо Ходжи. В разговор вступили другие гости и пошли болтать о том, что у каждого человека есть двойник. Приводили самые разные, порой неправдоподобные примеры, вспоминали о близнецах, которых путали их собственные матери; о людях, до того похожих друг на друга, что при встрече их охватывал страх, но они, словно околдованные, уже не могли друг с другом расстаться; о разбойниках, которые занимали место порядочных людей. После ужина, когда гости стали расходиться, паша велел Ходже задержаться.

Ходжа снова заговорил о своем, паша поначалу скучал и даже, казалось, был недоволен тем, что его пичкают какими-то непонятными и запутанными сведениями, но потом, выслушав речь Ходжи в третий раз и понаблюдав, как стремительно вращаются Земля и звезды в нашей модели, он вроде бы что-то понял – по крайней мере, принял немного более благосклонный вид и сделался внимательнее. Тогда Ходжа в очередной раз с жаром повторил, что звезды вращаются не так, как все думают, а вот так – как показано в модели. «Ну и хорошо, – в конце концов промолвил паша, – я понял. Очень может быть, что так оно и есть. Почему бы и нет?» Ходжа замолк.

Я подумал, что они, должно быть, долго молчали. «Почему он остановился, почему не продолжил?» – пробормотал Ходжа, глядя в окно на погруженный во тьму Золотой Рог. Если это был вопрос ко мне, то ответа на него у меня тоже не имелось. Я, правда, подозревал, что

у Ходжи есть соображения насчет того, каким могло быть продолжение беседы, но вслух он ничего не сказал.

Потом паша проявил интерес к часам, попросил открыть их и стал расспрашивать о назначении зубчатых колесиков, механизмов и гирек. Затем он опасливо, словно в темную и страшную змеиную нору, сунул палец в тикающее нутро часов и сразу его отдернул. Ходжа тем временем говорил об особых башнях для часов и о том, какой силой будет обладать намаз, совершаемый всеми в одно и то же безупречно отмеренное время. И тут паша вдруг выпалил: «Избавься от него! Хочешь – отрави, хочешь – отпусти на волю. Тебе же легче будет!» Должно быть, я бросил на Ходжу исполненный страха и надежды взгляд, поскольку он сказал, что не освободит меня, пока «они» кое-чего не поймут.

Я не стал спрашивать, что он подразумевал, может быть, боялся убедиться, что он и сам этого не знает. Затем они заговорили о других вещах, паша хмурился и презрительно посматривал на стоящие перед ним механизмы. Ходжа, продолжавший надеяться, что в паше снова проснется интерес, засиделся до позднего вечера, хотя и понимал уже, что его не очень рады видеть. Наконец он сложил механизмы в телегу. Воображение нарисовало мне человека, ворочающегося с боку на бок в своей постели в одном из домов на темных безмолвных улицах, по которым возвращался Ходжа: как человек этот, должно быть, дивился, слушая тиканье огромных часов, пробивающееся сквозь скрип телеги.

Ходжа шагал из угла в угол до самого рассвета. Свеча догорела, и я хотел зажечь новую, но он не разрешил. Я понимал, что он ожидает какого-то отклика от меня, и проговорил:

– Паша поймет!

Было еще темно, но Ходжа, наверное, понял, что я сам себе не верю. Немного погодя он все же ответил:

– Главное – понять, почему паша тогда замолчал.

И при первой же возможности он снова отправился к паше, желая разгадать эту тайну. На сей раз паша встретил его в хорошем расположении духа, сказал, что понимает, к чему он стремится. Обрадовав Ходжу такими словами, паша посоветовал ему заняться изготовлением оружия: «Такого, что сможет превратить весь мир в зиндан для наших врагов!» Каким должно быть это оружие, паша, правда, не сказал. Если Ходжа направит свои ученые занятия в этом направлении, паша ему поможет. Конечно же, он и словом не обмолвился о вознаграждении, на которое мы надеялись, – только дал Ходже мешочек с акче¹². Дома Ходжа развязал мешочек и пересчитал монеты: семнадцать, какая странная цифра! Вручив мешочек, паша пообещал уговорить султана принять Ходжу и выслушать его. Мальчик, сказал он, интересуется «подобными вещами». Ни я, ни даже обычно легко загорававшийся надеждой Ходжа не приняли эти слова всерьез, но уже через неделю нам передали, что паша представит нас – да-да, и меня тоже! – султану после ифтар¹³.

Готовясь к приему, Ходжа переделал речь, написанную для паши, так, чтобы она была понятна девятилетнему мальчику, и выучил ее наизусть. Но мысли его были заняты почему-то не султаном, а пашой, то есть все тем же вопросом: почему паша тогда замолчал? Когда-нибудь он раскроет эту тайну! Каким может быть оружие, которое поручил ему сделать паша? Ничего нового я об этом сказать не мог, да Ходжа меня и не просил. До поздней ночи он работал, закрывшись в своей комнате, а я, уже и не думая о том, когда вернусь в родные края, сидел без дела, смотрел в окно, словно глупый ребенок, и мечтал: человек, работающий за столом, – не Ходжа, а я, и в любое время я могу встать и пойти куда захочу!

¹² Акче – мелкая серебряная монета в Османской империи.

¹³ Ифтар – вечерняя трапеза во время священного месяца Рамазан, в течение которого мусульмане соблюдают пост в дневное время.

Под вечер мы сложили механизмы в телегу и отправились во дворец. Я уже успел полюбить стамбульские улицы и мечтал стать невидимкой, чтобы гулять по ним никем не замеченным, проникать, словно призрак, в сады и бродить среди огромных чинар, каштанов и багрянников. Механизмы наши мы сгрузили с телеги с помощью дворцовых слуг и установили там, где нам сказали, – во втором дворе.

Султан оказался миловидным румяным мальчиком, невысоким даже для своего возраста. Он трогал механизмы, словно свои игрушки. Сейчас я уже не могу точно вспомнить, тогда ли мне захотелось быть его сверстником и другом или много позже, через пятнадцать лет, когда мы встретились снова, но, во всяком случае, я сразу почувствовал, что он заслуживает хорошего отношения. Тем временем Ходжа от волнения никак не мог начать свою речь, а султан и столпившиеся вокруг придворные с любопытством ждали. Наконец Ходжа заговорил. В свой рассказ он вставил кое-что совершенно новое: говорил о звездах как о живых существах, разумных и прекрасных, которые знают геометрию и арифметику и, пользуясь этими знаниями, вращаются в гармонии друг с другом. Видя, что мальчик увлеченно слушает, время от времени бросая восхищенный взгляд на небо, Ходжа все больше воодушевлялся. Вот, говорил он, указывая на модель Вселенной, вращающиеся прозрачные сферы, на которых расположены звезды; вот Венера, вот так она вращается, а эта огромная штука – Луна, которая движется иначе. Ходжа вращал звезды; колокольчики, подвешенные к модели, мелодично звенели; маленький султан опасливо отступал на шаг назад, потом, собравшись с духом, снова подходил к позвякивающей модели, заглядывал в нее, словно в волшебный ящик фокусника, и старался понять, что там к чему.

Сейчас, когда я навожу порядок в своих воспоминаниях, пытаюсь заново придумать собственное прошлое, оно представляется мне картиной счастья, похожей на картинку к сказкам, которые я слушал в детстве. Не хватало только похожих на пирожные домиков с красными крышами и стеклянных шаров, внутри которых, если их перевернуть, начинал идти снег. Потом мальчик начал задавать вопросы, а Ходжа – отвечать на них.

Как звезды держатся в воздухе? Они укреплены на прозрачных сферах. Из чего сделаны эти сферы? Из прозрачного вещества, потому-то они и сами прозрачные. А они не могут столкнуться друг с другом? Нет, они расположены на разных уровнях, как в этой модели. Звезд так много, почему же сфер в модели меньше? Потому что звезды очень далеко. Насколько далеко? Очень-очень далеко. А у тех, других звезд тоже есть колокольчики? Нет, колокольчики подвесили мы, чтобы отмечать, когда звезда совершает полный круг. А гром как-нибудь с этим связан? Нет. А с чем тогда? С дождем. Завтра будет дождь? Судя по небу, нет. А что говорит небо о больном льве султана? Он выздоровеет, но надо набраться терпения. И так далее и тому подобное.

Говоря про льва, Ходжа поглядывал на небо, как и во время рассказа о звездах. По дороге домой он вспомнил об этом с усмешкой. То, что ребенок не отличает науку от пустых небылиц, не страшно; главное, он кое-что понял! Снова Ходжа произнес эти слова, причем с таким видом, будто не сомневался: мне доподлинно известно, какой смысл скрывается за этим «кое-что». А я тем временем думал, что мне уже все равно, становиться мусульманином или нет. В мешочке, который вручили Ходже, когда мы выходили из дворца, оказалось пять золотых монет. Султан теперь знает, сказал Ходжа, что в движении звезд есть логика и порядок. Ах, султан! Не скоро, очень не скоро мне довелось узнать его ближе. Так удивительно было видеть в нашем окне все ту же луну. Мне хотелось снова стать ребенком. Ходжа не удержался и опять завел прежнюю песню: вопрос про льва был не так уж важен, просто мальчик любит животных, вот и все.

Наутро он заперся в комнате и принялся за работу, а через несколько дней снова погрузил часы и звездную модель на телегу, но на этот раз, провожаемый любопытными взглядами из-за оконных решеток, отправился в свою начальную школу. Вечером он вернулся в плохом

настроении, впрочем, не настолько плохом, чтобы молчать. «Я думал, дети окажутся такими же понятливыми, как султан, но ошибся», – промолвил он. Дети просто испугались, а когда Ходжа, рассказав про звезды, начал задавать вопросы, один из мальчиков сказал, что по ту сторону неба находится ад, и разревелся.

Всю следующую неделю Ходжа старался укрепиться в мысли, что султан правильно понял его объяснения; в разговорах со мной он перебирал все подробности нашего пребывания во втором дворе, желая, чтобы я соглашался с его доводами: да, ребенок сообразительный; да, он уже сейчас умеет размышлять; да, это уже сейчас самостоятельная личность, способная противостоять влиянию своего окружения! Затем, еще до того, как султану начали сниться сны про нас, он начал сниться нам. Ходжа продолжал работать над часами; размышлял он, как мне представлялось, и об оружии; по крайней мере, заверил в этом пашу, когда тот вызвал его к себе. Но я догадывался, что паша его уже разочаровал. «Он стал таким же, как все, – говорил Ходжа. – Больше не желает ничего узнавать о незнакомых ему предметах!» Через неделю султан позвал его снова.

По словам Ходжи, султан встретил его приветливо. «Мой лев поправился, – сказал он. – Как ты говорил, так и вышло». Затем султан вместе с приближенными вышел во двор, где показал Ходже плавающих в пруду рыбок и спросил, что тот о них думает. «Они были красивые, – говорил мне Ходжа, – а больше на ум ничего не приходило». Но потом он уловил в движении рыбок некий порядок, и они словно бы сговаривались между собой, чтобы этот порядок не нарушить. Ходжа сказал, что рыбки кажутся ему умными. Услышав это, рыжий карлик, стоявший рядом с гаремным евнухом, который то и дело напоминал султану о наставлениях его матери, громко рассмеялся, но султан отругал его и позже, когда они отправились на прогулку, в наказание не взял этого карлика в свою карету.

Они поехали на площадь Ат-Мейдан, туда, где содержали хищных зверей. Султан провел Ходжу по зверинцу, показывая ему львов, леопардов и тигров, прикованных цепями к колоннам бывшей христианской церкви. Дойдя до льва, чье выздоровление предсказал Ходжа, мальчик остановился, заговорил со зверем и представил ему Ходжу. Затем они подошли к лежащей в углу львице; от нее не исходил, как от других животных, неприятный запах, и она была беременна. Глаза у султана загорелись, и он спросил, сколько львят родит эта львица и сколько среди них будет самцов, а сколько самочек.

В ответ Ходжа, как он потом, досадливо морщась, сознался мне, сморозил глупость – сказал, что разбирается в астрономии, но не в астрологии. «Но ты знаешь будущее лучше, чем главный астролог Хусейн-эфенди!» – воскликнул мальчик. На это Ходжа ничего не ответил, потому что боялся, как бы кто-нибудь из челяди не подслушал и не передал его слова Хусейну-эфенди. А расстроенный султан продолжал спрашивать: неужели Ходжа ничего не знает? Зачем же он тогда смотрит на звезды?

И Ходже пришлось повести разговор, который он намеревался начать много позже. Он сказал, что звезды многому его научили и благодаря этому он немало чего полезного добился в своей работе. Султан слушал, глядя на него во все глаза; Ходжа истолковал его молчание в свою пользу и продолжил: чтобы наблюдать за звездами, нужно построить обсерваторию, вроде той, которую девяносто лет назад повелел возвести Мурад III, дед Ахмеда I, деда нашего султана, для Такиюддина-эфенди¹⁴ и которая, увы, от небрежения пришла в ветхость и разрушилась. Нужно создать новую обсерваторию и даже нечто большее – дом наук, где будут бок о бок трудиться ученые, исследующие не только звезды, но все, что есть в этом мире: моря и реки, облака и горы, цветы и, конечно же, животных; обсуждая друг с другом свои наблюдения, ученые мужи будут обретать новое знание и развивать наш разум.

¹⁴ Такиюддин [ибн Маруф аш-Шами аль-Асади] (1526–1585) – османский ученый.

Султан слушал изложение этого замысла, о котором и я прежде ничего не знал, как увлекательную сказку. В карете на обратном пути он снова спросил про львицу: «Так какой же приплод она даст?» Ходжа успел все обдумать и на сей раз уверенно заявил: «Самцов и самок будет поровну!» Дома он сказал мне, что в его ответе не было ничего опасного. «Я прибегу к рукам этого глупого мальчишку, – говорил он. – Я похитрее буду, чем главный астролог Хусейн-эфенди!» Меня удивило и даже почему-то расстроило, что Ходжа назвал султана глупым, и я, как обычно, когда мне бывало грустно, занялся делами по дому.

Слово «глупый» вскоре стало для Ходжи подобием волшебного ключа, отмыкающего любой замок: они глупы, и потому им даже не приходит в голову поднять глаза и посмотреть на звезды; они глупы, и потому, прежде чем научиться чему-то новому, они спрашивают, пригодится ли им это и для чего; они глупы и потому не хотят входить в подробности, а требуют изложить им все вкратце; они глупы и потому похожи друг на друга и так далее и тому подобное.

Я ничего не отвечал Ходже, хотя и сам несколько лет назад, еще на родине, любил произносить подобные речи. Впрочем, я его не слишком занимал – все мысли Ходжи были заняты глупцами. Моя же глупость, по его словам, была иного рода. По свойственной мне в те дни болтливости я рассказал ему один свой сон: мне снилось, будто он поменялся со мной местами, приехал в мою страну и женится на моей невесте. Во время свадьбы никто не замечает, что он – это не я; я же, одетый в турецкий наряд, сначала стою в сторонке и наблюдаю за свадьбой, а потом, в самый разгар торжеств, подхожу к своей матери и счастливой невесте, но они, несмотря на мои рыдания, от которых я чуть позже проснулся, не узнают меня, отворачиваются и уходят прочь.

В те дни Ходжа дважды побывал у паши. Тому, по всей видимости, пришлось не по душе, что Ходжа в обход него пытается приобрести расположение султана, и он подверг Ходжу настоящему допросу. Расспрашивал он и про меня, даже велел своим людям собрать обо мне сведения, но об этом Ходжа поведал много позже, когда пашу снова выслали из Стамбула, иначе я трясся бы от страха быть отравленным. И все же я догадывался, что интересую пашу больше, нежели Ходжа; мое самолюбие тешило, что сходство между мной и Ходжей беспокоит пашу куда больше, чем меня самого. В то время это сходство оставалось словно бы тайной, о которой Ходжа не желал ничего знать, а в меня знание о ней вселяло странную смелость. Иногда мне казалось, что из-за этого сходства, и только из-за него, мне не угрожает никакая опасность, пока жив Ходжа. Возможно, по этой причине я возражал ему, когда он говорил, что паша тоже из породы глупцов, чем изрядно сердил Ходжу. Сознание того, что он не может от меня отделаться, хоть я и в тягость ему, толкало меня на несвойственную мне дерзость: я то и дело спрашивал его о паше, осведомлялся, что тот говорит о нас двоих. Это вызывало у Ходжи приступы гнева, причины которого, вероятно, не были ведомы и ему самому. Он принимался твердить, что у паши есть враги, что янычары беспокойны и могут взбунтоваться, что он нутром чувствует: во дворце что-то затевается. Так что если он и возьмется за работу над оружием, как предложил ему паша, то не для визиря, который сегодня есть, а завтра нет его, а для того, чтобы преподнести это оружие султану.

Некоторое время я думал, что Ходжа сосредоточился на этом расплывчатом замысле, что он пытается изобрести новое оружие, но из этого ничего не получается: ведь если бы получалось, он наверняка рассказал бы мне об этом и поинтересовался бы моим мнением – пусть и лишь для того, чтобы меня унижить. Однажды вечером мы возвращались из одного дома в Аксарай¹⁵, куда ходили раз в две-три недели, чтобы послушать музыку и вкушать женских ласк. Ходжа сказал мне, что будет работать до самого утра, потом заговорил о женщинах (а у нас не было заведено говорить на такие темы), затем пробормотал: «Я вот думаю...», но не закончил

¹⁵ Аксарай – район в исторической части Стамбула.

фразу, а придя домой, тотчас закрылся у себя в комнате. Я остался наедине с книгами, которые мне теперь было лень даже перелистывать, и стал думать о Ходже: о его оружии, работа над которым, я не сомневался, не движется с места; о том, как он сидит час за часом в своей комнате за столом, к которому так пока толком и не привык, смотрит на пустые листы бумаги и мучается от стыда и гнева...

Было уже далеко за полночь, когда он вышел из комнаты и, смущаясь, словно прилежный ученик, который не может справиться с пустячной задачей и просит помощи, позвал меня к столу.

– Помоги мне, – сказал он напрямик. – Давай думать о них вместе, один я никак не могу продвинуться.

На какое-то мгновение я вообразил, будто он подразумевает нечто имеющее отношение к женщинам и замешкался с ответом. Встретив мой недоуменный взгляд, он очень серьезно проговорил:

– Я думаю о глупцах. Почему их так много? – А потом прибавил, не дожидаясь ответа, как будто и так знал, что я скажу: – Ладно, может быть, они и не глупы, но в головах у них чего-то не хватает.

Я не стал спрашивать, кто такие «они».

– Неужто у них в головах нет такого места, где они могли бы удержать знания? – продолжил Ходжа и обвел комнату взглядом, будто подыскивал слово. – В голове у человека должна быть коробочка, точнее, несколько коробочек, вот как ящички у комода, какой-то уголок, чтобы хранить всякие разные вещи... У них ничего такого как будто нет. Понимаешь?

Я попытался убедить себя, будто что-то понимаю, но без особого успеха. Мы надолго замолчали.

– Впрочем, кому дано знать, отчего человек бывает таким или другим? – проговорил наконец Ходжа. – Эх, был бы ты настоящим врачом, рассказал бы мне, как устроено наше тело и что у нас внутри головы...

Он словно бы немного смутился и с подчеркнуто бесстрастным видом (чтобы меня не пугать, подумал я) заявил: он не собирается сдаваться, он пойдет до конца, – во-первых, оттого, что ему интересно, чем это закончится, а во-вторых, потому, что делать все равно больше ничего не остается. Я не понимал, что он хочет этим сказать, но мне нравилось думать, что всему этому он научился от меня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.